

АЛЕКСАНДР
СНЕГИРЁВ

Бил и целовал



ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ «РУССКИЙ БУКЕР»

брани! Содержит
18+
нецензурно

Александр Снегирёв
Бил и целовал (сборник)

«ЭКСМО»

2016

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Снегирёв А.

Бил и целовал (сборник) / А. Снегирёв — «Эксмо», 2016

«Мы стали неразлучны. Как-то ночью я провожал ее. Мы ласкались, сидя на ограде возле могилы. Вдруг ее тело обмякло, и она упала в кусты ярких осенних цветов, высаженных рядом с надгробием. Не в силах удержать ее, я повалился сверху, успев защитить ее голову от удара. Когда до меня дошло, что она потеряла сознание, то не придумал ничего лучшего, чем ударить ее по щеке и тотчас поцеловать. Во мне заговорили знания, почерпнутые из фильмов и детских сказок, когда шлепки по лицу и поцелуи поднимают с одра. Я впервые бил женщину, бил, чередуя удары с поцелуями». В новых и написанных ранее рассказах Александра Снегирёва жизнь то бьет, то целует, бьет и целует героев. Бить и целовать – блестящая метафора жизни, открытая Снегирёвым.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

© Снегирёв А., 2016
© Эксмо, 2016

Содержание

Божественный вензель	6
Внутренний враг	10
Конец ознакомительного фрагмента.	30

Александр Снегирёв

Бил и целовал (сборник)

© Снегирёв А., текст, 2016

© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2016

* * *

Божественный вензель

Мы смотрели на желтое море и ждали, когда принесут еду. Ресторан располагался на террасе над пляжем. Город, выстроенный русскими колонизаторами, громоздился выше, из всех сил делая вид, будто не замечает, что стоит у моря. Пляж, втиснутый между рестораном и портом, оказался невелик, остальная прибрежная полоса была пустынной, и только груды мусора украшали ее. Город отворачивался от желтых волн, устремляясь в горы. Давным-давно русские завоеватели согнали отсюда предков нынешних горожан, распределили их тут, в долине, в обустроенные дома на прямых длинных улицах. Захламленные набережные, разномастные пристройки, до неузнаваемости залепившие регулярные фасады, сообщали об ослаблении русской хватки и сползании аборигенов в привычную кособокую среду с глухими стенами, закупоренными дворами, с недоверием, враждой, а главное – со страхом перед бескрайним пространством моря.

Мы сидели на пустой террасе и рассуждали обо всем этом, а еще о том, что цивилизация, какими бы жестокими методами она ни насаждалась, все равно лучше, чем Средневековье. Что бы ни говорили про жестокость русских экспедиционных полков, но именно они принесли сюда архитектуру, письменность, искусство, науку, антибиотики и бесчисленное множество других вещей, без которых человека и человеком-то не всегда можно назвать.

Пока мы упивались величием собственной культуры, а соответственно и самих себя, официантка с красивым лицом в пятнах принесла блюда, и мы смолкли. Аппетит наш был вызван не только голодом и морским воздухом, но и кулинарными достоинствами еды. Когда тарелки опустели, настрой наш сменился с воинственного на куда более миролюбивый. Лениво продолжив обсуждение, мы признали, что в этой грубой на первый взгляд неупорядоченности есть своя прелесть, которая, возможно, не хуже, а может, даже лучше бульваров с тенистыми аллеями, особняков с лепными фасадами и драматических театров с классическими постановками.

После глотков, сделанных из бокалов и рюмок, мы совсем подобрали и сошлись на том, что жизнь повсюду разная, что так и задумано природой и наше дело не сетовать, а вникать, наслаждаться и не мешать другим. Философствованию мы, однако, предавались недолго и вскоре перешли на воспоминания.

Нас было трое: знаменитый пожилой профессор, ваш покорный слуга и блистательная дама, верховодящая в нашей троице по причине того, что ни я, ни тем более профессор не любили спорить. Мы приехали на форум, посвященный диалогу культур. Существовал этот форум только потому, что позволял местным чиновникам отчитываться перед центром. В результате у редющей местной интеллигенции рождалась иллюзия причастности к великой культуре слабеющей метрополии. Умиротворенные пищеварением, мы принялись делиться забавными и курьезными историями из прошлого и скоро вышли на извечную тему захлопнувшейся двери. Тут-то наша блистательная предводительница и взяла слово...

Случилось это лет двадцать тому назад. Ей тогда было... Рассказчица с шутовским кокетством задумалась.... Сколько бы ни было, она и тогда уже блистала не тусклее теперешнего, была вся из себя и ходила по своей красивой квартире в фиалковой пижаме и на каблучках. При такой своей соблазнительности была она особой не ветреной, на сторону не глядела и хранила верность мужчине, любившему лежать на диване в гостиной. Лежал он не просто так, а в наушниках, через которые транслировались божественные органнне мелодии. Рассказчица музыку любила, но умеренно, поэтому наушники и появились – ну не могла она регулярно выносить всю эту церковную патетику. Чтобы не лишать своего спутника жизни любимого хобби, она купила наушники и однажды вечером нежно надела на

его голову. Слушай на здоровье, дорогой. Так они время и проводили: он – в наушниках на диване, а она – на каблучках по комнатам. Цокала и думала, как же у нее все уютно и красиво. И сигареты одну за другой выкуривала.

В один из таких вечеров, когда он, по обыкновению, прикрыв глаза, наслаждался сложными гармониями, а она докурила очередную с ментолом, ей пришла мысль выглянуть в окно. По ту сторону стекол стоял январский мороз, во дворе не было ни души, надвигалась ночь. От увиденного нашей героине стало совсем хорошо: она в тепле и уюте, а там вон какой минус и неприкаянность. И тут удивительное и вместе с тем распространенное желание охватило ее – захотелось выйти туда, в эту застывшую темень. Не выйти даже, а только нос высунуть. Чтобы обожгло. Мороз подразнить – и обратно к масляной и акварельной живописи на стенах, к фарфору в буфете, к паркету на полу. Именно такое желание тянет нас из благополучных городов в дикие края. Именно оно подталкивает папиных дочек на баррикады, а маменькиных сынков превращает в кровожадных героев. Хочется острее почувствовать, как же на самом деле хорошо дома!

Простучав каблучками мимо заслушавшегося мужчины, она, как была в фиалковой пижаме, вышла в прохладный подъезд. Тишина стояла абсолютная; даже показалось, что лифт, разбуженный ее вызовом, очень удивился. Спустившись, она открыла дверь.

Мороз, как страстный любовник, хлестнул по лицу и тотчас оказался везде: ворошил волосы, шарил под пижамой, пощипывал пальчики ног. И она доверчиво подалась ему навстречу. Всего один шагок – только вкусить немного и обратно.

Что случилось после, угадать нетрудно. Интерес представляют лишь детали. Шагнув из подъезда, она ступила каблучком на обледенелый гранит, поскользнулась, отпустила дверь и упала, а когда поднялась, дверь уже захлопнулась, и ей ничего не оставалось, как ощупывать фиалковые закрома в тщетных поисках ключа.

Настырность мороза больше не будоражила – наша рассказчица стремительно замерзала. Звонки в собственную квартиру ни к чему не привели – орган в наушниках заглушал любые домофонные трели. Она принялась трезвонить во все квартиры подряд. Но вот беда: дело происходило в первых числах января – все укатили на каникулы, в целом подъезде светились только ее окна. Упрекнуть в черствости было решительно некого, даже пресловутые наушники – ее собственная инициатива.

Тщетно потыкав кнопки и убедившись, что результата это не принесет, она стала озираться и увидела, как во двор въехал автомобиль и покатил в ее сторону. Надеясь увидеть за рулем кого-нибудь из соседей, наша героиня воспрянула духом. Когда же она разглядела на водительском сиденье мужчину, то и вовсе перестала некрасиво ежиться и потирать стынувшие ладони, а распрямила спину и только эффектно притопывала каблучками.

Водитель заглушил мотор и, прежде чем выйти, повозился в салоне. Она еще мысленно поторопила его, мол, долго копаешься. Когда же она увидела его в полный рост, то поняла – судьба свела ее с мужчиной, без всяких сомнений, интересным, жаль только, что с букетом. Тут ее постигло еще одно разочарование – новоприбывший направился не к подъезду, а в ресторан напротив.

Глядя тоскливо на плотно укутанный букет и думая о том, что о каких-нибудь уругвайских розах заботятся больше, чем о ней, она отбросила остатки кокетства и, потирая бока, дуя в кулаки и хлюпая успевшим изрядно покраснеть носом, последовала за интересным мужчиной.

Гордо вскинув голову в ответ на вопросительный взгляд гардеробщика, она оправила пижаму и, как можно вальяжнее, вошла в зал. Ресторан пустовал, занят был лишь один стол, за который и устремился человек с букетом. Компания веселых людей встретила его радостными возгласами, а одна дама, получив цветы, бросила на дарителя такой взгляд, что наша едва не околевавшая героиня с отвращением отвернулась.

Усевшись у стойки, она несколько раз выразительно вздохнула и на вопрос – что сударыня желает? – рассказала бармену о своих злоключениях. Тот выслушал, пересказал все управляющему, который вошел в положение, и несчастной подали согревающий напиток. Подали, прошу заметить, совершенно бесплатно.

Жидкость согрела тело и размягчила сердце. Стало жалко саму себя. Устроенная, казалось бы, не одинокая, живопись опять же, фарфор, паркет... и вдруг угодила в такое нелепое происшествие. Она думала о человеке в наушниках, о его к ней чувствах, о том, что ее ухода он до сих пор не заметил, что винить его не в чем, что жить с ним дальше нельзя, а без него невыносимо.

Здесь надо отметить, что никаких романтических поворотов судьбы, какие часто случаются на страницах, посвященных зимним праздникам, с героиней не случится. Нельзя заранее предвещать читателю развитие сюжета, а уж тем более нельзя предупреждать о бесперспективности самых распространенных надежд, но это надо сделать именно сейчас, когда согревшаяся и захмелевшая героиня в очередной раз бросила взгляд на интересного мужчину и горько задумалась о своем, изменяющем ей на диване с Бахом. Именно теперь с ней, казалось бы, и должна случиться встреча. Именно теперь, когда она, униженная, оказалась на критически близком расстоянии от чужого тепла, должно случиться нечто очень важное.

Должно случиться и случится. Но не то, на что рассчитывали и мы с профессором, и она сама, и вы, дорогие читатели. Встреча ей и в самом деле предстояла, но не та, которую ждали мы, запрограммированные любовными историями с так называемым «счастливым концом».

Прикончив согревающий напиток и даже прожевав вместе с кожурой апельсиновую дольку, насаженную на край стакана, она поняла, что не может больше оставаться в ресторане ни минуты, тем более что интересный мужчина пригласил обладательницу букета на медленный танец. Поблагодарив персонал за отзывчивость, миновав гардеробщика, она вышла во двор и направилась к своему подъезду.

Тут-то ее внимание и привлекла приоткрытая калитка в стене. Было известно, что эта стена огораживает сад старинной усадьбы. Калитка всегда была закрыта, и сколько наша блистательная рассказчица жила здесь, столько она знала о существовании сада и о том, что попасть в него нет никакой возможности. Краешек его можно было увидеть с верхних этажей, но это толком ничего не сообщало, а проситься в квартиры под крышей ради сомнительного созерцания казалось неподобающим. Когда она была второклассницей, возникали идеи перелезть через стену, но стена была непреодолимо высока. Потом интерес поубавился и почти вовсе забылся до того самого мгновения, когда перед ее глазами оказалась приоткрытая калитка.

Давний интерес всколыхнулся в ней и, придав сил, заставил позабыть о морозе. Она подошла к калитке и толкнула черный, весь в клепках, железный лист. Руку обожгло ледяным металлом, тяжелая створка подалась.

Взору открылся даже не сад, а целый парк. Зима стояла малоснежная, лишь кое-где серели мерзлые комки. Фонарей или других источников света не было. Свет лился с неба, в котором мерцали золото и пурпур городской ночи. Кустарники, клумбы, дорожки и фонтан были окрашены в шелковистые оттенки бесцветья. Вдоль стен выстроились деревья, сформированные рукой садовника. Своими заплетенными, будто калачи, безлистными кронами они напоминали огромные выбивалки для ковров. Пышные, прямоугольно остриженные туи выстроились в лабиринт, в самом центре которого зияла опустевшая чаша фонтана. Над чашей возвышался замшелый каменный купидон, обхвативший здоровую рыбину. В жаркие деньки из рыбьей пасти наверняка хлещет сверкающая струя, фонтан полон, а в кронах поют соловьи.

Каблучки хрустели по туевому лабиринту, среди уснувших клумб и куртин, мимо растений-пирамид и растений – диковинных фигур. Температура окружающего воздуха падала, а женщина в фиалковой пижаме никак не могла насмотреться. Раньше ей приходилось видеть множество разных парков, знаменитых и не очень, больше и красивее этого, но почему-то никогда парк не волновал так, как теперь. Ей даже показалось, что идет она не по простым дорожкам, а повторяет своими шагами контуры какого-то таинственного вензеля. Может быть, даже вензеля самого Господа Бога.

Возможно, причиной таких мыслей стало ее падение на ступеньках, хотя головой она вроде не ударилась. Или на нее так подействовал согревающий напиток на основе крепкого вина, фруктов и специй. Или общее переохлаждение и утрата веры в собственную незыблемость. Или все это приключение в целом... А может, ее фантазию возбудило осуществление детской мечты? Да и неважно, в чем причина, а важно взявшееся откуда-то отчетливое понимание, что именно сейчас происходит ее самая главная встреча, что в деревьях, растениях, лабиринте и фонтане заключены все ответы, и прежде всего главный, сообщающий, что никаких ответов нет.

Потом она не могла вспомнить, что было сначала: она увидела или ощутила. Пошел снег. Она не подняла глаз, не ловила снежинки губами. Ничего такого. Снег падал на пирамидальные и прямоугольные хвойные, на деревья-выбивалки, на дорожки, на купидона и на фиалковую пижаму. Снег стал падать одновременно с наступлением осознания. И сразу сделалось холодно.

Подгоняемая отчаянием, обрушившимся с многократной силой, подхлестываемая оборзевшим морозом, она поспешила вон из сада и не заметила, как снова оказалась перед запертой дверью родного подъезда. Она опять позвонила в собственную квартиру, и ее бесконечные трели опять остались без ответа. Тогда она стала нажимать на все кнопки подряд, поочередно и разом, и дверь вдруг открылась.

Произошедшее после несущественно. В квартире ничего не изменилось. Судя по положению лежащего на диване, в наушниках по-прежнему гремел орган. С момента ее ухода не прошло и часа.

Профессор произнес в честь рассказчицы тост, а я задал три вопроса: как у нее после этого с ее меломаном, бывала ли она в саду еще, и содержится ли в случившемся мораль? Отвечая на первый вопрос, она сказала, что все без изменений. Меломан по-прежнему лежит и слушает, разве что диван новый купили. В саду она больше не бывала – калитка всегда заперта. А мораль...

– В чем истина? – спросила наша блистательная предводительница и тут же ответила сама: – Каждый из нас знает ответ. Но мы притворяемся и обманываем себя, подобно этому городу, который делает вид, будто моря не существует. Но море от этого никуда не девается и каждый день, каждую минуту подтачивает город. Вот и мы думаем, что если не видим сада, значит – его нет. А сад есть. И открывается он нам тогда, когда мы меньше всего этого ждем.

Внутренний враг

– Это Степан? – каркнул из трубки незнакомый старик.

Домашним телефоном Миша не пользуется. Раньше звонили материны знакомые, коллеги. Выражали соболезнования.

О смерти матери не знавшие удивлялись, как это так, такая еще молодая, что же случилось, плохие врачи, вот у меня врач хороший, на ноги поставил. Миша от звонков этих устал, устал от удивления малознакомых людей, удивления, за которым поблескивала радость превосходства: они-то живы. Многие любопытничали, выпрашивали подробности болезни и очень разочаровывались, узнав, что болезни никакой не было. Не было страданий, паралича, ложных надежд, знахарей-шарлатанов, вонючих простыней, пролежней. Сосуд лопнул. И все. Интересующихся Мише еще на похоронах хватило, один ее сослуживец все в гроб заглядывал – проверял, хороша ли коллега в своем последнем макияже. Однажды Миша перестал поднимать трубку, и звонки сами собой прекратились. На этот раз звонок разбудил его, он долго ворочался и прятался под одеяло, собрался было выдернуть шнур или поднять трубку и сразу же положить, но сдался, приложил трубку к уху.

– Это кто?! – рявкнул, срываясь, голос.

Вот мерзкий старикашка. Поколение грубиянов. Это кто? Тебя надо спросить «это кто?». Сдержав раздражение, Миша представился с манерно-шутовским вызовом:

– Михаил Глушецкий к вашим услугам.

В трубке воцарилась тишина. Миша начал злиться. Разбудил, а теперь молчит. Уж не окочурился ли неизвестный пенсионер на том конце провода? Миша алектнул, проверяя у собеседника пульс.

– Валентину позови, – отозвался старик.

Ну вот, опять. Какой-то на ладан дышащий тип хочет говорить с матерью, которая скоро год как в могиле.

Миша уже выучился отвечать: «Она умерла». Отвечать не запинаясь. Отвечать и не смотреть после этого по часу на какой-нибудь предмет, который такого пристального внимания не заслуживает.

– Она умерла.

В трубке опять провал. Но не такой продолжительный, как предыдущий.

– А ты ей кто?

– Послушайте! – не выдержал Миша. – Хватит мне тыкать! Вы сами-то кто? С какой стати меня допрашиваете?

Молчание.

– Ты сын Валентины?

– Ну сын, дальше что?!

В голосе старикашки Миша чувал военную привычку говорить коротко, не просить, отдавать приказы. Военных он терпеть не мог. Солдафонов. Пока он боролся с желанием высказать в трубку все, что думает по поводу военных, обязательного призыва и дедовщины, старикашка заговорил:

– Ты не Миша Глушецкий. Ты Степан Васильевич Свет.

После смерти матери Миша остался без родственников. Отца не помнил, о нем мать рассказывала разное. То отец был ее однокурсником в пехоте, то моряком, то сотрудником иностранного посольства. Ничего определенного. Не будь мать строгой чопорной училкой, Миша мог бы решить, что она и сама толком не знает, от кого залетела. Еще в раннем детстве он обнаружил странность – он носил фамилию матери. У остальных детей фамилии

были отцовские. Сколько Миша мать ни расспрашивал, ничего внятного добиться не мог и однажды просто потерял интерес к своему происхождению.

– Это друг твоего дедушки тебя беспокоит.

– Мой дедушка давно умер.

Трубка ненадолго затихла.

– Я говорю про отца Васи, папаши твоего беспутного.

– Моего отца зовут Григорий, – возразил Миша.

Глупо утверждать, что твоего отца зовут Григорий, только потому, что отчество у тебя Григорьевич. Миша понял это, еще не успев прозвенеть «и» кратким в конце имени предположительного родителя.

– Вася с Валентиной Степаном тебя называли. В честь деда. В честь его деда. Он мне сам говорил. Вася был кобель и пьяница, разбежались они быстро. Валентина тебя от папашки отгораживала, отчество тебе придумала. Я чего звоню: Вася лет пять как помер, и дед твой недавно... – Старик замолк. – Он мне велел найти тебя и дом перевести. Квартирка еще была, да Вася пропил. Мне недолго... Приезжай. К нотариусу надо.

С улицы летел звон, хруст и грохот. В подъезде меняли окна, старые рамы сваливали в железный контейнер.

* * *

Выходило, никакой он не Миша. Не Михаил Григорьевич Глушецкий, не очкарик-переводчик, у которого папа за морем, за границей, черт знает где, а Степан Свет, у которого папаша-алкаш в земле сырой. Миша-Степа снова подивился матери, ее умению хранить тайну, ее ощущению своего права унести эту тайну в могилу.

Даже мелькнула мысль, не ловушка ли это. Нет ли у него тайных врагов, кому он не угодил на переговорах, ошибся с переводом, импорт с экспортом перепутал. Заманят в глухое место – и убьют. Но разыгравшаяся фантазия не подкреплялась реальными фактами. Никаких врагов Миша припомнить не мог, никто к нему претензий не имел, а работать на переговорах, касающихся секретной информации, он сознательно отказывался.

Вечером в гости заглянула Катя. Возлюбленная. Любовница. Девушка. С Катей он уже несколько месяцев. Принесла бутылку, стала что-то резать, жарить и смешивать. Миша теребил пальцы, отвечал невпопад.

– Так как тебе идея? – Катя поставила перед ним тарелку.

– Идея неплохая, но стоит подумать...

– О чем тут думать, каждый день буду тебе готовить, чего ты такой напуганный?

Миша очнулся: о чем это она, о какой такой идее спрашивает его мнения?

– Я люблю тебя и хочу просыпаться рядом с тобой. – Катя опустилась на пол у его ног, положила голову ему на колени. Волосы распались, сверкнула молния пробора.

– Мне предлагают работу в Лондоне. Контракт на год с возможностью продления. Я думаю... – Она смотрела на него снизу вверх.

– Да-да... Знаешь, сегодня такой странный человек звонил...

И он рассказал ей подробности утреннего разговора. Ничего не утаил, даже секрет своего имени.

– А я-то думала, что влюбилась в еврейского интеллигента! – рассмеялась Катя. – Степан Васильевич Свет! Имя больше подходит какому-нибудь генералу госбезопасности. Генерал по контролю за оборотом тьмы.

Обсудив таинственного посланца от покойника-деда, они решили, что все это похоже на маловероятную, но все же правду. Завтра Катя с самого утра занята, Миша вполне может

ехать один, посмотрит, что и как, и если вся эта история – не ошибка слабоумного старика, он познакомит с ним и ее.

Миша отложил работу, отменил встречи, сказав, что должен уделить время пожилому родственнику, и отправился на поиски таинственного семейного дома, в котором ныне обитал душеприказчик его родного деда.

Зарабатывал Миша переводом: участвовал в подписании договоров между компаниями, присутствовал на встречах банкиров. Иногда его приглашали на переговоры представителей бизнеса с политиками, где одни давили, а другие пытались отдалиться как можно дороже. Такие встречи были единственным соприкосновением Миши с миром полученной в университете профессии.

В конце двадцатого века Миша изучал политическую науку, а в самом начале века двадцать первого на торжественной церемонии, перед которой под залог паспорта студентам выдали магистерские мантии и шапочки с квадратным блином и кисточкой, получил диплом с державным золотым тиснением. Ректор пожал Мише руку. Отныне он именовался магистром политических наук. Вот только политика к тому времени в стране закончилась.

В последнее десятилетие двадцатого века, десятилетие беспредела и надежд, в России начали готовить профессионалов для обеспечения работы демократической многопартийной системы. Студентов учили быть консультантами при партийных вождях, мудрыми советниками президентов, знатоками опыта прошлого, предостерегающими от повторения ошибок. Ведущим преподавателем был молодой еще мужчина, успевший побывать и министром, и советником, и депутатом, а теперь временно ушедший в науку, чтобы скоротать ожидание новой должности. В заключение семинаров он любил рассказать историю из своего недавнего славного прошлого, делился хохмами о встречах руководителей государств, потчевал молодежь байками об известных государственных деятелях. Этот бывший любил приговаривать, что вот, мол, скоро назначение, уже в кулуарах решают и вот-вот снова его призовут, вставят обратно в обойму, ведь без его опыта и мудрости ну никак... Прошел год, другой, политический олимп заполнили новые люди, у которых были свои застоявшиеся приближенные, и про рвущегося из университетского стойла, постаревшего раньше времени хохмача позабыли.

Миша думал, что сможет принести стране пользу, сможет применить свои умения. Он верил, что знания Алексиса де Токвиля, Хайдеггера и Леви-Стросса, транслируемые через него, уберегут Россию от очередной диктатуры, обеспечат свободу и процветание.

Вышло иначе. К моменту получения золоченого диплома, когда преподаватель притих и прекратил хорохориться, когда иссякли и стали повторяться его анекдоты, а сам он все больше хлопотал, как бы дочку выдать замуж за европейца да о зарплате, растущей слишком уж медленно, политические выборы превратились в скучное представление с предсказуемой развязкой, пузырь лопнул, и след от него затянула привычная русская тина, ровная и бескрайняя. Цепляясь за веру в авторитарную, но просвещенную власть, Миша попробовал было встроиться в этот механизм, но, столкнувшись с тем, что единственной константой любых действий является только выгода начальственной группировки, ушел. С тех пор кормил Мишу другой, полученный параллельно, лишенный всякого тиснения диплом переводчика с английского языка и обратно.

Следуя подробным указаниям старика и карте, Миша катил деревенской улицей, которая ворочалась под автомобилем, выставляя все свои горбы. С обеих сторон желто-ржавой октябрьской мочалкой напозлали кусты, свешивались ветлы и валились дома, будто пьяные, жаждущие поговорить по душам. Улица в русском селе – не то обстроенная избами вместо трибун арена, не то русло пересохшей реки. Края неровные, дома не в линию, а как-то

вокруг. Здесь и кусты растут, и целые деревца, и тропки стихийные разбегаются. Посреди такой улицы можно кровать поставить, хоть вдоль, хоть поперек, лежать себе и наблюдать светила – никто не потревожит.

Деревня всего километрах в восьмидесяти от города выглядела необитаемой: большинство домов прорастали изнутри деревьями, несколько избенок покрепче со следами свежей краски были законсервированы до следующего лета. Ни лая собак, ни кудахтанья кур. Старик дал четкие инструкции, и Миша, вопреки опасениям, без труда нашел нужный дом на самом отшибе, у поля. Облезлые ветви перли поверх линялых, истлевших, мягких от старости досок забора. Сизый, крытый шифером, накренившийся сруб напоминал уснувшего пса.

Отогнув, согласно обстоятельным телефонным указаниям, проволоку, Миша распахнул калитку. Точнее, калитка выпала на него, едва он освободил ее. Пройдя по усыпанной листьями дорожке, он поднялся по гнилым ступенькам. Постучал. Стеклопанная дверь веранды передразнила звоном.

– Эй, есть кто?! Это Миша!

Только теперь он сообразил, что не знает имени старика. Во время вчерашнего разговора тот не представился. После нескольких минут тщетного стука и криков, на которые никто не отзывался, Миша дернул дверь – та оказалась открытой, и он вошел на веранду.

Потрескавшийся, подбитый гвоздиками линолеум. Дрожащий пол. От каждого шага позвякивают стаканы в серванте. Обои, разрисованные выцветшими цветочными гирляндами. Несвежий дух.

– Добрый день! Миша приехал! – прокричал Миша. – То есть Степа. Я приехал!

И тут же вздрогнул от чужого прикосновения. Даже подпрыгнул. Чего тотчас устыдился. Позади него в кресле сидел круглоголовый старик в черной ватной телогрейке, в синих заношенных трениках, заправленных в шерстяные носки: один носок был высоким коричневым, с вывязанной на нем снежинкой, другой – короткий серый с красным штопанным и снова продраным мыском. Старик толкал Мишу концом клюки:

– Не шуми.

Миша вдруг понял, что не знает, как поздороваться. Пожать руку? Просто кивнуть? Может, обнять...

От старика заметно пахло. Миша решился на рукопожатие.

– Здравствуйте! – неестественно громко крикнул он, забыв о просьбе не шуметь.

– Чего орешь, я не глухой пока.

– Михаил Глушецкий по вашему приказанию прибыл, – шутливо отрекомендовался Миша на военный лад. Пенсам ведь нравится все военное, с оттенком великодержавности.

Старик презрительно фыркнул:

– Какой ты Глушецкий, чтобы я этой жи... – Старик оборвал себя. – Этой... нерусской фамилии больше не слышал! Ты – Свет!

Он наконец протянул Мише руку. Миша пожал.

– Чего ты меня тискаешь, встать помоги!

Костлявые пальцы вцепилась Мише в ладонь. Дернули. Его мотнуло к старику. Дурной запах ударил в нос. И даже куда-то в лоб. Под кость. Вспомнил фреску Микеланджело. Создатель протягивает руку свежесотворенному Адаму. А вот если бы Адам протягивал руку Творцу, одряхлевшему, немощному и больному... Вставайте, папаша, созданный вами мир гниет и разваливается, переезжаем в другой, а этот спалим.

Поднявшись на дрожащих ногах, старик обнаружил себя некрупным и сгорбленным грибом с мохнатыми ушами. Белые брови были густы чрезвычайно, отдельные длинные волосинки торчали кошачьими усами-антеннами, закручиваясь на концах, надбровные дуги выступали буграми. Нос с черными порами и пучками из ноздрей заметно выдавался. Рот до конца не захлопывался. Правая рука мелко дрыгалась. Миша обратил внимание, что старик

на него не смотрит. Пялится в пол, в стену, на Мишины кроссовки – куда угодно, только не смотрит в глаза.

– Паспорт взял? – переведя дух после подъема с кресла, спросил старик, изучая растянутые джинсы на Мишиных коленках.

– Взял.

– Завтра к десяти к нотариусу поедem дарственную составлять. Дом этот тебе останется. Есть хочешь?

– Еще не проголодался, спасибо, – отказался Миша, стараясь, чтобы голос звучал веселее.

– Что? – переспросил строптивый старик. Он все-таки был туговат на одно ухо.

– Есть пока не хочу! – громко повторил Миша.

– Не ори.

С того первого их телефонного разговора старик ни разу не попросил, а только и делал, что отдавал приказания. В другой раз Миша бы возмутился, встал бы в позу, но встреча с этим человеком, выпрыгнувшим из небытия, так поражала и занимала, что Миша не артанился, не своевольничал и выполнял все требования.

Миша был воспитан нежной одинокой матерью, которая обрушивала на него всю свою нерастрченную страсть. Любил разговоры ласковые, душевные. За сутки, прошедшие со вчерашнего утра, он успел нафантазировать общение с приятелем родного деда, которого никогда не видел. Разговор этот Миша представлял себе в ключе несколько идиллическом. Вот они сидят у камина или у печки, старик рассказывает истории из жизни его деда, вспоминает об удивительных подвигах, с гордостью за то, что был его другом, имел, так сказать, честь, а напоследок благосклонно сообщает, что Миша, то есть Степа, похож на того Степу в молодости, ох как похож. В реальности же старик ничего подобного не проделывал, ничего рассказывать не собирался, и ждать нежностей от него явно не приходилось.

Вцепившись в Мишину руку, он вошел с веранды в избу. Ступая медленно, подстроившись под шаг старика, вдыхая вонь как можно более скупую, Миша осмотрелся. Грязь повсюду накопилась необычайная. Как покрытый водорослями песок на дне морском колыхается от колебаний воды, так пушистый ковер пыли дрогнул от волны воздуха, поднятой распахнувшейся дверью. Пыль бархатилась повсюду. Мише показалось, что он угодил в жилище существа, обитающего на таких глубинах, куда никогда не спускались ни водолаз Кусто, ни отшельник Немо. Большой круглый стол был заставлен бесчисленными склянками, коробочками с лекарствами – вместе они напоминали макет города, где главными часами был остановившийся будильник. Некоторые склянки были не такими пыльными, как другие, что говорило о том, что хозяин изредка употребляет их содержимое. Над столом висела бронзовая люстра без плафона. В двухстворчатом книжном шкафу стояло несколько потрепанных томиков с незнакомыми именами и названиями на корешках. Мише почему-то запомнилась книжка «Голубые сугробы». За стеклами буфета была кое-как расставлена случайная посуда: несколько бокалов, рюмок с золотыми каемками, стопка тарелок, чашка. На стене висела большая черно-белая фотография, запечатлевшая молодого мужчину в гимнастерке с петлицами на воротнике и с ремешком через правое плечо. Погон на его плечах не было, форма явно довоенная или первые годы ВОВ.

– Дед твой, – прокомментировал старик. Хотя смотрел в другую сторону и никак не мог знать, что Миша заметил фотографию.

Умение видеть затылком напугало Мишу. Что-то звериное было в этом.

Станный у него был дед: жил с каким-то мужиком, который теперь на его фотографию любуется и наследство его определяет. Мишу отвлек неприличный и вместе с тем характерный звук, который у людей часто случается, но который не принято производить в обществе.

– Калоприемник, – объяснил старик, и голос его показался Мише смущенным. – Рак прямой кишки. Четвертая стадия.

Они доплелись до кухоньки. Стол был накрыт, точнее – облеплен старой, напитанной продуктовыми соками газетой. Из миски с нарезанными помидорами лениво поднялись осенние мухи. С голой загаженной лампочки свисала липкая, хрустящая, шевелящаяся от мух лента. Пузатый холодильник «ЗИС» распирала плесень, буйно расползающаяся из его железного чрева. Нутро холодильника, как и хозяйское, безнадежно загнило. Старик опустился на единственную табуретку и принялся за помидоры, отправляя их в рот трясущейся вилкой. Прооперированная кишка снова пукнула. На этот раз более смачно.

– Чего встал, коли есть не хочешь, – буркнул едок, понимая, какое отвращение он вызывает у гостя.

По бледной, в коричневых крупинках лысине ползла муха.

– Там... – Старик едва заметно указал рукой. – Там комната для тебя. Раньше в ней Вася жил. – И красная помидорная слюна длинным жгутом повисла на его губе.

Вечером хозяин велел спилить засохшую яблоню. Бензопила хранилась у него под кроватью. В сарае пилу не оставлял, опасался воров. Миша быстро приуспокоился к опасному инструменту и свалил старое дерево. Хруст последних волокон подпиленного ствола, падение и шелестящий удар ветвей о землю. Ствол Миша порезал на короткие чурки. Руки ломило, улыбка в опилках растягивала лицо. Никогда прежде он не пилил дров бензопилой и теперь испытывал радость простого труда. Ту радость, что выдувает из головы любые мысли, делает счастливым.

Ворочаясь на старом жестком диване, он вдыхал запах чистых, но долго пролежавших в шкафу, а потому затхлых простыней. В доме было прохладно – дедок оказался скрягой, запретил «попусту жечь» дрова. Электрический нагреватель имелся только один, в его комнате.

Непривычные звуки сада, отсутствие автомобильных гудков и сирен, скрипы дома, шебуршение мышей тревожили Мишу. Только он погружался в дрему, холодильник вздрагивал и начинал тарыхтеть своим сталинским мотором. Пол и межкомнатные перегородки тряслись. Чашки в буфете дребезжали.

Но сильнее всего Мишу тревожили мысли. Вечером, выйдя прогуляться, он позвонил Кате и подробно рассказал ей о встрече с загадочным стариком, о том, что переночует в доме, а завтра рано утром повезет его составлять завещание. Имя старика он так и не узнал. Спросил раз, но тот не расслышал или сделал вид. Миша постеснялся продолжить расспросы, решил, что старик мог представиться еще при первом их разговоре по телефону, просто из головы выскочило, и теперь неудобно выказывать такую забывчивость.

Когда Мише все-таки удалось заснуть, ему приснилось, что в комнату ввалился огромный черный медведь. Зверь скалил клыки, вцепился когтистыми лапами в Мишино горло. Оцепеневший от ужаса, Миша не мог пошевелинуться, только рука одна непроизвольно упала в щель между стеной и диваном. Пальцы коснулись чего-то гладкого, деревянного. Топорище. Рука налилась силой. Хрипя под медвежьими лапами, Миша выхватил топор и рубанул зверя по голове. Медведь ослабил хватку. Миша стал молотить топором по медвежьему лбу как попало – острием, обухом, плашмя... Бил, пока не опомнился. А когда опомнился, ничего от головы медвежьей не осталось, а веки Мишины слипались от медвежьей крови.

От ужаса перед самим собой, перед собственной жестокостью Миша проснулся. В окно стучала ветка. Он пошарил между диваном и стеной. Пальцы нащупали гладкую деревянную рукоять. Вытащил находку. В тусклом свете раннего утра разглядел топор.

За спиной булькнуло. Миша подскочил. Руки сами собой дернулись, чуть топором себя в лицо не ударил. Обернулся. В двери стоял старик. Старомодный, кургузый, но опрятный коричневый пиджак, того же цвета брюки. Темный галстук. Черные начищенные ботинки.

– Для разведки не гожусь, – сострил старикашка, и Мише показалось, что его отвисшая губа скривилась в усмешке. – Давно стою, на тебя смотрю. Плохо спалось?

– Новое место. Непривычно.

– Привыкнешь. Пей чай, и поехали.

В очереди у нотариуса долго ждать не пришлось. Старик записался заранее, и вскоре крупный мужчина с усишками пригласил их в кабинет.

Стены кабинета украшали вымпелы и грамоты, сообщающие, что нотариус в прошлом служил в КГБ и всячески там отличился. На большой фотографии усатенький стоял в компании одинаковых, как матрешки, детин, буженинные оковалки голов которых оплывали на камуфляжные плечи. Полиэтиленовые глаза, мягкие туши, поросшие светлой шерстью, жаркая прелость под мышками, в паху, катышки между пальцами ног. Папиломки, шрамики бледные аппендицитные. Разговелись, проперделись, похристосовались.

Почуяв их запах, Миша захлебнулся в страхе и брезгливости. Мыши. Хочется прихлопнуть, но до того мерзко, что вспрыгиваешь на табуретку. Чувство, знакомое каждому русскому интеллигенту. А Миша, конечно, интеллигент. Начитанный, всегда против, люто ненавидит опричников, чекистов, обслугу вечной местной тайной канцелярии. Держится от таких на расстоянии, лапищи их кровавые не пожимает, правда, и те на рукопожатиях не настаивают, на другую сторону улицы переходит и оттуда полными презрения глазами буровит ненавистные, кожаные, шинельные, камуфляжные спины.

Будь его воля, он бы всех этих усатых собрал на корабль, вывез бы в море и потопил. Чтобы вода даже запах похоронила. Ведь из-за этой крепко затвердевшей кучки его знания, его надежды похоронены. Из-за них профессия его не нужна, диплом тисненый – на растопку, лишь подхалимство и умение закрывать глаза пользуются спросом. Из-за них одни друзья спиваются, другие терпят, убаюкивая себя: «Все не так уж плохо, может, так и надо, а кое в чем, пожалуй, даже правильно, откуда нам знать все тонкости». Руки у всех опускаются, не стремятся здесь ни к чему, а лишь отсюда подальше стремятся. Из-за них Россия с боку на бок ворочается, от вечного бодуна очнуться не может.

А сами-то они кто, нынешние слуги тайных ведомств? Недалекие подпевалы, обезьянничавшие двоечники, миноритарии поеденных молью идеологий, щерящие одолженные у мумий вставные челюсти, подворовывающие втихую, путано крестясь на портретик начальника. И усики-то у них жалкие. Не николаевские – калачиком, не кошачьи буденновские, не сталинские жирные, не усы Сальвадора Дали, а невыразительная лобковая поросль низших чинов, трусливо подсматривающих в щелочку за демиургами прошлого.

Эти мясные бойцы выдавили на корабль таких, как Миша. Дохлаков, умников, очкариков, лишних. Он работал однажды на выставке зарубежной недвижимости. Люди валом валили, хоть бы что прикупить – домик, квартиру, закуток. И не для отдыха, а для побега из страны, которая в любой момент может полыхнуть. Гадливый страх поселился в людях. Страх этот разъедает души, уродует мечты, перетирает жизни.

Мать рассказывала о бабушке, которая после ареста мужа, Мишиного деда, отказалась от него в письменной форме. Подпись поставила. И дату. А потом до самой смерти места себе не находила. А он, когда в пятьдесят шестом из Казахстана вернулся, прощения у нее просил за то, что своим приговором испортил ей жизнь. Мишина мать люто ненавидела всех без разбора бойцов внутреннего фронта. За отца своего ненавидела, за мать, за себя, за всех расстрелянных, перекованных, штабелями в рудниках уложенных, в каменистую почву

Колымы втоптаных. Ненависть не приносила ей счастья, не прибавляла сил. Ненависть подтачивала ее, отравляла. Мать сжигала саму себя в своем же двигателе.

Те мрачные времена Миша представлял себе весьма смутно, «плохих» он, как и следовало человеку его круга, ненавидел, «хороших» почитал за мучеников. Эпоха оживала в его воображении схематично. Что такое каменистая почва Колымы, Миша не знал. Читал, что почва в тех местах каменистая, но как именно выражается ее каменистость? Это когда одни камни? Или земля вперемешку с камнями? Или земля твердая настолько, что напоминает камень? А если все-таки камни, то какие: округлые или острые, крупные или мелкие?..

Миша завидовал могуществу государевых псов, их неистребимости, влекущей и устрашающей силе. Ненависть Мишина была истерической, так ненавидят правозащитницы с надломленной психикой, так ненавидят крестоносцы Страсбургского суда, грантососы-неудачники, шакалящие у западных посольств.

Разобравшись в причине визита, хозяин кабинета строго попросил Мишу выйти.

– Я должен поговорить с дедушкой наедине и удостовериться, что он сам принимает решение и никакого давления на него не оказывается. Вы только паспорт оставьте.

В коридоре Миша стал прохаживаться взад и вперед мимо ожидающих своей очереди посетителей. Минут через двадцать нотариус распахнул дверь и приветливо пригласил Мишу обратно. Физиономия его так и светилась, усишки топорщились.

– Вот не ожидал. Такие люди еще есть среди нас! – воскликнул нотариус.

Ассистентка принесла чай и поднос с печеньями-конфетами.

– Угощайтесь! – ластился нотариус.

Миша откусил печенье, гадая, чем вызвана такая любезность. Чем этот хрипло дышащий, вонючий старик так угодил? Тот сидел, сложив руки на рукоятке клюки, и смотрел в одну точку. Миша грыз печенье и прислушивался к своей просыпающейся ненависти. Ненависть потянулась после долгого сна, зевнула. Расправляла крылья, вертела затекшей шеей. Ноздри уловили тонкий запах фекалий.

На прощание нотариус похлопал Мишу по плечу и напутствовал:

– Вы можете гордиться вашим дедом. Надеюсь, встретимся не скоро.

Уезжать сразу после оформления дарственной было неудобно. Выходило, приехал только ради наследства и, получив желаемое, больше в одиноком старике не нуждается. Пускай он вернется через несколько дней, но... Не найдя никаких моющих средств, Миша, преодолевая отвращение, взялся ножом отскребать облепленный газетами кухонный стол.

– Чего расхозяйничался?!

– Стол хочу отмыть. Грязный очень, – оправдался Миша.

– Нечего тут! Езжай. Звонить будешь раз в два дня. Чтобы я тут не гнил долго, когда откинусь. А то дом так провоняет, что жить не сможешь. Завещание у нотариуса. После моей смерти в течение полугода к нему с паспортом. Запомни: этот дом дед твой построил. Береги его, ремонтируй, поддерживай, детям оставишь.

Смущенный отказом от помощи и обрадованный избавлением от гадкой уборки, Миша съездил в магазин, купил продуктов, электрочайник, который был встречен недовольным бурчанием, зарядил баллон газом и укатил с чувством освобождения от тяжелого груза.

Катя, выслушав подробный, приправленный комическими штрихами рассказ о получении наследства, смеялась и едва не плакала одновременно.

– Хоть он и отказывается, надо помогать. Старики все упрямые. На выходных вместе поедem, порядок наведем. Ему жить-то осталось совсем чуть-чуть. Может, в город его перевезти?

– Он не согласится.

– Я с ним поговорю, согласится. Он тебе хоть и не родственник, но все равно надо помочь. Честно сделал то, о чем твой дедушка просил. Мог бы какой-нибудь сиделке завещать. Нельзя старика одного бросить.

Мишу завертели дела, встречи с иностранцами, долгие, затягивающиеся до глубокой ночи переговоры. Каждый раз, когда он собирался звонить старику-благодетелю, что-то мешало. То работа, то поздний час. А потом он опять забывал. Опомился дней через пять.

Заметно нервничая, набрал номер. Автоматический голос сообщил, что телефон находится вне зоны действия сети. Миша не волновался – в деревне плохой прием. Перезвонил снова. На этот раз гудки. Дождавшись автоответчика, сбросил и снова набрал. Гудки. В течение всего дня Миша звонил в каждом перерыве, на каждом перекуре. Никто не ответил.

С трудом дождавшись окончания встречи, на которой он был прикомандирован к юристу нефтяной компании, Миша помчался в деревню. Пустая улица, валящиеся дома. Показалось, улица стала уже, а дома накренились сильнее и вот-вот прихlopнут его.

Дверь, как и в прошлый раз, оказалась не заперта...

Старик лежал поперек порога своей комнаты.

Миша кувырнулся к нему:

– Эй! Вы чего?! Вы живы?! Эй!

Миша тряс старика, словно куклу. Ненавидел его за то, что он может вот так вдруг умереть. Стал щупать пульс. На запястьях. На шее. Побежал за зеркальцем. Не нашел, вернулся.

Раздался знакомый звук. Миша никогда так не радовался пердежу. Тем более чужому.

– Чего суетишься... – булькая горлом, прошамкал скукоженный рот.

Миша поцеловал костлявую руку. Любовь к этому вонючему, едва живому непонятно кому вдруг наполнила его. Захватила и согрела.

Он доволок ожившего до кровати.

– Помоги сменить. – Старик с усилием задрал на боку байковую рубашку. – Ночью автоматчики приходили, сегодня старшой их вернется.

– Кто приходил? – вытаращился Миша.

– Стоит вон, сторожит. – Старик мотнул головой.

Миша посмотрел в ту сторону. Табуретка.

– Бояться, как бы я не убег, – скривился улыбкой старик. – Смени пока.

Он указал на упаковку сменных калоприемников.

Сраженный его галлюцинациями, Миша поставил чайник.

Как быстро развивается болезнь... Неделю назад был абсолютно трезвомыслящий человек.

Наполнил таз кипятком. Перекинул стариковскую руку себе через шею и дотащил его, словно раненого, до стула. Отлепил раздувшийся переполненный пакет, омыл ярко-бордовую, кровяную кишку-трубочку, торчащую краником из бледного живота. Намылил кожу рядом с кишкой и стал аккуратно брить отросшие волоски старинным станком. Странная мысль мелькнула у него в голове. Странная и отвратительная. Захотелось эту кишку срезать. Такой лишней она показалась. Такой раздражающей. Гадкой и вожденной. Миша с трудом удержал руку от произвольного движения.

Он снял предохраняющую бумажку с клейкого кружка, продел отросток в отверстие в пакете, приклеил пакет к бледному боку, хорошенько прижал к коже.

– Ничего. Завтра к врачу поедem. Поправишься. А хочешь помыться? – улыбнулся Миша. – Давай я тебя помою. Будешь чистенький!

Он разжег плитку. Взгромоздил на конфорку полное ведро. Подтащил нагреватель поближе. Растопил печь. Когда вода забурлила, наполнил корыто, разбавил ледяной из колодца. Расплескивая колышущуюся гладь, успел укорить себя за несообразительность –

надо было пустое корыто принести и на месте наполнить. Помог старику стянуть байковую рубашку, майку, шерстяные носки, синие штаны. Вооружившись завалявшейся губкой для мытья посуды, Миша принялся тереть маленькое, белое, беззащитное тело. Взбухшие вены, сморщенные складки, красные сосуды. Дряблый ребенок. Наконец у него появился ребенок. Большой, нелепый, старый ребенок, и он с ним нянчится. Натирая спину, Миша невзначай прижался к гладкой макушке.

– Когда Вася Валентину в дом привел знакомиться, она болтать стала, – заговорил Степан Васильевич неожиданно. Будто мочалкой Миша кнопку «play» задел. – Товарища Сталина назвала преступником.

– У мамы отец репрессирован, можно понять. А вы откуда знаете?..

– Я тогда Васе сказал, что Валентина для меня не существует.

Миша вздохнул. Бедняга путает себя с его дедом. Был, наверное, такой случай, дед ему рассказал. Эх, дурацкие стариковские принципы. Существует – не существует. Как будто непонятно, кто такой был этот ваш товарищ Сталин. Да и можно ли из-за слова «преступник» так заводиться.

– Бежать мне надо. – Старик внезапно схватил Мишу за шею, проявив молодую силу. Захрипел в самое Мишино ухо, пригнув к себе его голову: – Когда у них пересменка будет, ты мне с пайкой перо передай, а дальше я сам.

И, ослабнув, отпал, тяжело дыша, от Мишиной шеи, будто насосавшийся клещ. Миша потер кожу, на которой краснели следы хватки.

– Давай сначала домоемся, а потом все остальное, – ласково попросил он, намыливая стариково плечо.

Под мыльной пеной проявилась бледно-голубая картинка. Старая, почти растворившаяся татуировка. Будто плоть пыталась рисунок собой разбавить, да не справилась. Пятиконечная звезда. От звезды широкий луч, поджаривающий корчащегося очкарика. И надпись: «Свет несет смерть врагам народа».

Миша потер буквы.

Оглушенный, он уложил Степана Васильевича в постель. Укрыл одеялом. Потушил лампу. Затворил дверь. Он не помнил, как проделал все это, не помнил, как оказался перед фотографией на стене. Степан Васильевич Свет. Молодой, моложе его, вопреки обычаю того времени смотреть вдаль, вопреки самому себе нынешнему, дед смотрел внуку прямо в глаза.

Трудно было отвести взгляд от этих глаз. Очень хотелось отвести, но не под силу.

От взгляда этого стало страшно. Захотелось проснуться. Очнуться. Глаза деда были с виду ничем не примечательны – веки, ресницы, зрачки. Но Мише показалось, что не в глаза человеческие он смотрит, а в дырки нужника, в звериные норы. Миша даже прикрыл глаза деда ладонью и стал внимательно разглядывать петлицы на воротнике, нарукавную нашивку. В углу петлиц – треугольник. Звездочка и полоса. Нашивка – меч и щит. Догадываясь обо всем, Миша все-таки порылся в Сети и после недолгих поисков уже знал, что на момент фотографирования Степан Васильевич Свет был капитаном Народного комиссариата внутренних дел.

Вышел во двор, хлебнул из фляжки. Осенняя ночь, как навязчивая пьяная шлюха, полезла под свитер, под брюки, принялась ласкать ледяными пальцами. Миша смотрел в темноту сада и видел изможденных доходяг, бредущих на прииски, видел, как кровь подследственных заливает листки признательных показаний, слышал вопли, звуки ударов, шипение папирос, вдавленных в кожу. Вырванные ногти материнова отца хрустели под ногами, ветви шуршали тысячами химических карандашей, строчащих доносы.

Он вспомнил книжки, учебники, мемуары, фотокарточки. Перед глазами вились цепи рабов, везущих тачки с грунтом, толпы мужчин и женщин в рудниках, на лесозаготовках,

на стройках, во рвах братских могил. Вспомнил, как с гадким любопытством рассматривал рисунки, изображающие распространенные в то время пытки. Наивные, словно для детской книжки сделанные картинки, подкрепленные пояснениями, наглядно показывали, как следователи душили заключенных резиновыми мешками и подвешивали на дыбу.

А пытал ли дедушка? Истязал? Лампой в лицо светил, руки держал, яйца каблуками давил? Миша чувствовал себя отравленным. Зараженным. Будто все из набухшего отростка в него слили. Нельзя прооперировать, вылечить, отсечь. Ядовитая кровь в нем. Переливание не поможет.

Пробудившаяся в кабинете нотариуса ненависть, ослабленная недавней нежностью, подпитанная алкоголем, распрямилась, стала толкаться, стучать ножками, требуя выхода. В сердце ожили все невинно замученные, раздавленные, изничтоженные, втоптаные в пресловутую землю Колымы, какой бы каменистой она ни была. Они орали, колотили мисками, скреблись корявыми пальцами, требуя возмездия.

Миша не мог простить, он желал убить всех. Доживающих стариков, потомков вырезать. Всех причастных. Осквернить памятники, снести здания-бастионы. Но не мог. А если бы мог, пытал бы бесконечно. И вождя их, которого мать ласково назвала преступником, товарища С, из могилы бы выкорчевал, оживил бы живой водой, пинками бы поднял: подъем, чувак, возмездие. Выходил бы его и волочил по тротуарам, площадям и канавам городов и деревень. А сам бы смотрел и вишневый компот ел из банки... Огонь невозможности вылизывал его изнутри.

Пропуск в рай решил купить своим домом гнилым. Вроде как доброе дело сделал, наследство определил. Раньше-то про своего внука единственного не вспоминал. Раньше не существовало ни Миши, ни его матери. А теперь, когда автоматчики за ним явились, так он его, Мишу, просит побег устроить...

Не станет он подарки из таких рук принимать. Не доберется бывший капитан НКВД до святого Петра. Или кто там на входе. Я стану его святым Петром здесь, на этом свете. К нотариусу больше не поеду, а ему выскажу все, пусть один подышает, зная, как я его презираю.

Нет... Глупо это. Дом, земля государству достанутся. Лучше я дом продам и сиротам пожертвую. Больным детям. Старикам одиноким. Нищим. Больным, нищим старикам-сиротам...

Миша – идеалист. Натура страстная. Никогда не переводил документов для компаний, которые, по его мнению, нарушали права неимущих, чья деятельность угрожала озоновому слою. Жертвовал на детский дом, после смерти матери два раза в месяц работал в больнице добровольцем – помогал ухаживать за умирающими. Он все принимал близко к сердцу, мог расплакаться от какой-нибудь военной кинохроники, котенка лишайного молочком напоить, мусор упорно разделял, хоть все его пакетики со старыми газетами, пустыми склянками и органическими отходами бессовестно перемешивались глухими к проблемам экологии сотрудниками уборочных фирм.

Он, переводчик, который каждый день помогал людям найти общий язык, не мог перевести сам себе правду родного деда. Не мог принять деда, договориться с ним. С самим собой теперь не мог договориться.

На запинаящихся ногах вернулся в дом. Он плохо видел, хотя очки никуда с его носа не подевались. Если бы его спросили потом, почему он сделал то, что сделал, он бы не смог ответить. Он не принадлежал себе. Не различал цветов. Он видел только топор и дверь. Взял топор. Вошел в дверь. Щелкнул выключателем.

Невольно бросил взгляд в тот угол, где недавно стоял автоматчик-охранник.

По-прежнему табуретка.

Свет лампочки не потревожил старика. Тот лежал ровно, как Миша его уложил. Глаза оставались закрытыми, рот запал. Вот так, по ночам, они арестовывали людей. Брали кого в чем – в кальсонах, в ночных рубашках.

– Ты рассорил моих родителей из-за своего вояды. Слово «преступник» тебе не понравилось. Ты трус. Все вы трусы. Приканчивали людей, а семьям сообщали, что десять лет без права переписки. Ты даже перед смертью ссышь сказать мне, кто ты.

Миша стоял над своим дедом, беззащитным и маленьким, крепко сжимая топор.

Он занес топор.

Раскроить ему черепок.

Размозжить эту мышь.

Фанатика.

Навсегда избавить от ига.

Других избавить.

И самого себя.

Хотел.

Но не мог.

Знал, что не может.

Не сможет.

Но топор занес.

Хоть намерением насладиться...

Дед открыл глаза. И скоился на Мишу. Головы не повернул, скоился. Зрачки в углы глаз скатил. Это произошло так неожиданно, скошенные глаза вцепились так крепко, что спину Мише обдало ледяным снежком, затылок когти стянули. Нестерпимый ужас наполнил сердце.

Миша не мог отвести взгляда. Дед впервые с их встречи смотрел ему прямо в глаза. Стоя перед этой человеческой развалиной, перед ненавистным зловонным куском дряблой плоти, Миша чувствовал бессилие. Ладони, сжимающие топор, взмокли. В глазах деда была власть, неподчинение. Презрение к Мише, к себе, к жизни и смерти. Презрение к Мишиной мечте убить его. Презрение к Мишиной нерешительности. И не оттого сила, что мускулы, не оттого власть, что полномочия, а от неверия и безразличия. Для деда он был сразу всеми очкариками, всеми умниками – троцкистами, вредителями-интеллигентами, которых он, Степан Васильевич, так легко сжигал своим светом.

Сколько Миша простоял, зачарованный взглядом старика, он потом точно определить не мог. Может, час простоял, а может, минуту. Дед закрыл глаза так же неожиданно, как и открыл. Миша почувствовал, будто его застали за чем-то очень-очень интимным, за кражей или за рукоблудием, застали, посмотрели, не говоря ни слова, и, заскучав, отвернулись. Дед застучал его, поиграл с ним и утратил интерес. Миша стоял оплеванный, руки, сжимающие топор, онемели. Из него выбили признание без всяких пыток, он все подписал, товарищей оговорил.

Он больше не мог оставаться в комнате, но и сойти с места не мог. И действие, и бездействие были мучительны. С великим трудом он опустил топор. Руки не слушались, суставы заклинило. Сделал шаг, ступил из заколдованного круга, который незримо очертил вокруг него дед. Второй шаг. Третий. Лампочку за собой не потушил.

Выбежал во двор. Зубы стиснуты, лицо дергается. Задрал рукав на левой руке, взял топор в правую, вытянул левую, сжал кулак, занес топор...

Опустил топор.

Снова занес. Закусил губу. Зажмурился...

Открыл глаза. Поднес край топора к руке. Царапнул. Кровь выступила жгучим пунктиром, и он зашвырнул топор далеко в кусты.

Он долго бродил по саду, допил коньяк и, только когда совсем продрог, вернулся в дом. Растопил печь. Огонь плясал на старых поленьях, щекотал деревяшки, юркие огненные хвостики пролезали в самые потаенные щелочки. Огонь был, как взгляд деда, не было от него спасения. Жар из топки разморил Мишу, на рассвете он не заметил, как задремал.

Во сне он все так же сидел перед печью. Скользнув взглядом вверх, он заметил, что побелка отслаивается, печь трескается. Из щели, которая на глазах расширялась, вилась струйка дыма. Миша заволновался, что они с дедом угорят. Стал метаться по комнате в поисках чего-нибудь, чем залепить щель, и, не найдя ничего, кроме куска яблочного пирога, стал замазывать прореху. Дым прекратил наполнять комнату, Миша с удовлетворением облизал сладкие пальцы и только собрался снова наслаждаться созерцанием огня, как его отвлек громкий звон. Обернувшись, он увидел, что оконная рама как была рухнула в сад. Прохлада наполнила комнату. Не успел он удивиться и огорчиться – с потолка на голову упал небольшой, но увесистый кусок штукатурки. Потирая место ушиба, Миша задрал было голову к потолку, но взгляд его наткнулся на фотографию на стене. У деда на портрете носом шла кровь. Черные червяки ползли из ноздрей через верхнюю губу на нижнюю, на подбородок. Кровь текла и текла. Гимнастерка на груди набрякла, дедовский взгляд стал еще острее, придавливал и гнул.

Миша очнулся рывком. В окно светило размытое осенней дымкой солнце. Он потянулся, прикрыл ногой дверцу потухшей печи. Утро. На часах без десяти одиннадцать. Посмотрев на дверь в комнату деда, он вспомнил ночной порыв и усмехнулся. Чего только ночью не взбредет в голову. Да еще спьяну. Ночью можно надеть глупостей, не то что при дневном свете.

Он испытывал чувство обновления, какое бывает после разрешившегося нервного напряжения. Дом показался ему не таким, как накануне, он приготовил чай, подошел к дедовской двери, поднял согнутый палец – постучать. Подумал: надо бы сперва что-нибудь съесть, а потом уж стучать. Воспитанный внук позавтракал бы вместе с дедом, но Миша решил заморить червячка и уж тогда звать деда и поесть с ним основательно. На пустой желудок его терзал стыд за ночную выходку.

Он отрезал кружок колбасы. Съел. Ломтик сыру. Съел. Дожевывая, вернулся к заветной двери. Вкус пищи прибавил уверенности, он еще больше радовался, что ночью не наделал глупостей. Радовался, что вот так вдруг обрел близкого человека. При свете солнца родство с палачом не казалось ему отвратительным, скорее романтическим. Проглотив остатки колбасы и сыра, он уверенно постучал.

Дед не отозвался.

Миша постучал сильнее, позвал:

– Дед, завтракать будешь?

Вчерашнее мытье, татуировка и дальнейший замысел мести за всех невинно убиенных придавали Мише храбрости и даже развязности. Теперь он мог без запинки называть Степана Васильевича дедом, тыкать ему, забыв всякую подчеркнутую вежливость, какую демонстрировал всего неделю назад, когда они познакомились.

Его вдруг осенило. Новым в этом утре был звук – тиканье часов. Покрытый слоем грязи старый будильник ожил. Стрелка-соломинка, дергаясь, отсчитывала секунды.

Удивившись прихотям механизма, Миша постучал снова и, не дождавшись ответа, решил войти без разрешения.

Степан Васильевич лежал на железной кровати в том же положении, в котором Миша оставил его ночью. Ненужный ночной горшок, желтый, с отбитой на блестящем боку эмали, старомодная, с восковыми ручками, радиола, табуретка-автоматчик. Запах вроде исчез.

– Дед, – снова позвал Миша и тронул старика за плечо.

Тело деда было неживым. Миша это сразу понял. Не надо разбираться в мертвецах, чтобы, наткнувшись на мертвеца, опознать его.

Дед умел осадить Мишу. На этот раз он умер.

За прахом Миша смог приехать незадолго до закрытия крематория. Служительница просунула в окошко черный с латунной крышкой сосуд с сожженной головой, туловищем, ногами-руками, костями, ногтями, глазами и налитым отростком, торчащим в бок.

Дед оказался последним постоянным жителем деревни. Девяносто восемь лет. Проживет ли он столько? Миша решил было поискать семейную могилу, чтобы сразу закопать урну, но уже темнело и кладбище закрывали.

Он был не один, Катя вызвалась сопровождать. Обняв урну, как когда-то обнимал аквариум с рыбками из зоомагазина, Миша остановился у запертых ворот кладбища.

– В другой раз вернемся и похороним, – обнадежила Катя.

Миша мысленно согласился. Сожженной голове, костям, глазам и отростку не важно, когда их закопают.

– Поехали, наследство покажу.

И они отправились в сторону родовой развалюхи.

– Это он? – спросила Катя, разглядывая фотографию.

– Он.

– Вы с ним очень похожи. Особенно без очков. – Катя сняла с Мишиного носа очки. – Ну-ка встань к свету.

Миша, щурясь, встал под фотографией, повернулся к окну.

– Одно лицо. Только глаза... У тебя глаза... добрее, что ли. Сколько ему на этой фотографии?

– Двадцать семь – тридцать.

Катя вернула Мише очки.

– Признайся, ты заведешь любовницу после моей смерти?

– С чего ты взяла, что я тебя переживу?

– Если ты протянешь девяносто восемь лет, как он, тягаться с тобой будет сложновато. На чердаке уже был?

В ее голосе играло детское предвкушение открытий. Они полезли на чердак. Лампочки там не было, и Миша стал светить фонариком из телефона. Рассеянный луч выхватил старые, полуразинутые чемоданы, коричневый и красный, из них торчало тряпье. Чемоданы хотели сожрать барахло, да подавились и застыли с набитыми пастями. Связки газет, велосипед без колеса, костыли, люстра, на стропилах – серые яблоки покинутых осами гнезд.

– Никаких сокровищ, – констатировал Миша.

– Не торопись. – Катя ковырнула носком сапога. – Посвети-ка сюда.

Среди мятых, изъеденных молью пиджаков и комков болоньевых плащей показался предмет строгой формы. Синяя фуражка с краповым околышем.

– Нет, говоришь, сокровищ?

Нашитый на донышко фуражки ромбик носил поблекшую, вытравленную потом надпись: «Свет С. В.».

Катя нахлобучила фуражку Мише на голову.

– Ну-ка! – Она забрала фонарик, ослепила Мишу лучом. – Красавец! Будто на тебя! А мне как?

Сдернула фуражку с Миши, надела на себя. Фуражка села глубоко, по самые, цвета американских купюр, глаза. Катя подсветила свое лицо снизу, отчего оно стало по-цирковому желтым.

– Эй, ты! Фашист, враг народа, признавайся, готовил заговор против товарища Сталина и всего советского народа?! – Ткнула Мишу пальцем в грудь: – Говори!

Легонько шлепнула по щеке.

– Зачем имя изменил?

Шлепнула по другой щеке:

– Степа Свет... Мне нравится...

Катя сжала его лицо так, что рот сморщился трубочкой. Приблизилась.

Они коснулись друг друга губами. Фуражка упала им под ноги.

Катя вошла во вкус и, надвинув слегка растоптанную фуражку на глаза, принялась руководить:

– Эй, ты, фашист, натаскай-ка дров. Топить надо, ночи холодные.

Миша принялся возить дрова в тачке из сарая в дом. Это со стороны кажется, что возить в тачке груз – дело нетрудное, после двух полных тачек он заметно вспотел. Снял очки, положил на ступеньки.

– Не останавливаться. Как там... Труд есть дело чести, дело боблести... Тьфу! Доблести и геройства! – неожиданно проявила исторические познания Катя.

Пока Миша таскал, Катя распахнула окна, сгребла простыни с постели деда, мелкий мусор, морщась, выволокла во двор и велела поджечь. Так принято. Костер был высокий и краткий.

После проветривания растопили печь, уселись перед огнем.

– Стены, кажется, крепкие, полы тоже, – топнула ногой Катя. – Добротный дом. Надо просто порядок навести и сделать мелкий ремонт. Но сначала все оформить. А то деньги вложим, и окажется, что документы не в порядке.

– Я тут думал, – подбирая слова, начала Миша. – Знаешь... хочу этот дом продать, а деньги какому-нибудь приюту перевести.

– Много не выручишь. А с чего вдруг?

– Можешь надо мной смеяться, но... мне как-то неприятно наследство от палача принимать. Я как бы его грехи на себя беру. Вроде как прощаю его. Вроде как преемственность... – Миша смутился и запутался.

– Мама родная, слова-то какие! Палач, грехи, преемственность! – рассмеялась Катя. – Какие грехи?

– Ну... ты же понимаешь.

– Это все только в твоей голове. У тебя просто богатое воображение. Это просто дом, который построил твой дед. Обычное наследство. Береги его, ремонтируй, поддерживай, потом детям оставишь. Нашим детям.

Раздался стук в дверь.

– Мне послышалось?

– Кто-то стучит.

– Кроме нас, в деревне никого.

– Пойду гляну. – Миша шагнул к двери.

– На, возьми на всякий случай, – Катя протянула ему кочергу.

Миша усмехнулся, но кочергу взял. Катя и не думала шутить, вооружилась ножом. Миша отпер дверь, ведущую из дома на веранду. Распахнул. В темных стеклах веранды отра-

жался его силуэт и освещенная комната позади него. Из отражения на Мишу смотрел фотографический портрет деда, висящий у него за спиной.

Дождавшись, когда глаза привыкнут к темноте, Миша откинул крючок с остекленной ромбами двери веранды, шагнул в сад.

Моросило.

– Никого! – крикнул Миша. – Показалось.

Не поворачиваясь к саду спиной, Миша плотно закрыл дверь и накинул крючок. Торопливо, делая вид, что согревается быстрой ходьбой, вернулся в дом.

– Городским в деревне всегда что-то мерещится, – улыбнулся он, обняв Катю. – Значит, ты думаешь, ничего страшного, если я оставлю дом себе?

– Конечно, ничего страшного! – Катя смотрела ему в глаза. – Думаешь, дети расплачиваются за грехи отцов до седьмого колена? Он тебе никто, чужой человек. Он ведь так и не сказал, что он твой дед.

– Не сказал...

– Тогда о какой ответственности можно говорить? Он вообще как инопланетянин. НКВД, Сталин – это же прошлый век. Давай просто жить и радоваться. Только теперь у нас будет дом.

Несмотря на поздний час, они принялись фантазировать, измерили веревкой мебель и комнаты, думая, какую сделать перестановку.

– Сервант с веранды я бы выбросила.

– А я бы оставил. Выбрасывать будем только в крайнем случае. Знаешь, мне этот дом все больше нравится.

– Ну обои-то хоть обдерем?

– Давай прямо сейчас попробуем!

Было глубоко за полночь, когда острое отысканного в кустах топора поддело один из листов фанеры, которыми были оббиты бревенчатые стены.

Топор расширил шов. Гвозди взвыли, обои рыхло лопнули. Лист высотой с Катю хлопнул об пол. Волна воздуха опрокинула со стола чашку. От края откололся зубчик. Три мыши кинулись в разные стороны. Они передвигались короткими перебежками, пытаясь сбить с толку людей.

Омерзение и страх. Знакомое чувство. Миша упал на стул, поджал ноги. Катя запрыгала, давя мышей. Ловко и быстро перебила всех.

– Что, Степан Васильевич, испугался? – улыбнулась Катя. – А дедушка твой, энкавэдэшник, не испугался бы.

– Он был сатрап, а я тонко чувствующий интеллигент, мышку убить не могу, – попытался пошутить Миша.

Они вымели труху мышиных гнезд, горсти черных семян, просыпавшихся из нутра стены. Выбросили трупки. Миша замыл кровавую слизь. Обнажившиеся сизые бревна хорошенько протерли.

– Жучок-древоточец, – поставила диагноз Катя, увидев бревна, испещренные множеством дырочек. – Очень трудно вывести.

– Может весь дом сожрать? – задумчиво поинтересовался Миша.

– Может. Но не волнуйся, он, скорее всего, сдох давно! – приободрила Катя.

– А если не сдох?

– Как бы это узнать...

– Надо сосчитать дырочки. Если появится новая, значит, жив, – предложил Миша.

Катя наполнила до половины два разномастных, найденных в серванте бокала.

– Ну, за Родину, за Сталина!

Ночью шел дождь. Струи то усиливались, то ослабевали. Мише не спалось. Кутаясь в старое одеяло, он поднялся на чердак. За мерным гудением дождя отчетливо слышалось падение капель на пол. Крыша текла. Миша принес тарелки, миски, поставил под течи. Холодная капля упала на лоб. Кап. Почему-то он задержался, не отошел. Новая капля. Еще одна. Забежала за шиворот, юркнула по спине.

Вспомнилась пытка, когда на голову методически капает вода. А все-таки пытал ли кого-нибудь его дед? Расстреливал?

Миша стоял под каплями. Шлепки о голову заслонили все звуки. Ручейки резво сбегали по вискам, затылку, за ушами на плечи. По спине и груди. Капли отсчитывали жизни. Раз, два, три. Жизни расстрелянных, жизни отправленных в лагерь, в детдомы, жизни сочинителей доносов, жизни дознавателей, конвоиров, жизни письменно отрекшихся от своих близких. Он продрог и спустился вниз. Пересекая залу, посмотрел на фотографию. Молодой капитан Свет изучал его пристальным взглядом.

Утром, когда Катя еще спала, Миша, бодрый и полный решимости, полез осматривать крышу. Ему не нравилось, что вода капает на пол, протекает на первый этаж, портит пол и потолок, стены и мебель. Он решил начать ремонт дома сам, сделать что-нибудь маленькое, но важное. Разузнав, что крышу можно замазать битумной мастикой, сгонял за пять километров в хозяйственный, подтащил к стене старую лестницу, приставил так, чтобы залезть сначала на крышу веранды, а с нее по доске с набитыми перекладинами вскарабкаться на один из двух основных скатов, туда, где предположительно треснул шифер.

Держа банку с мастикой в руке, он уверенно взобрался по лестнице, схватился за край крыши веранды, и тут лестница пошатнулась.

И встала на место.

Пустычная высота, но сердце дрогнуло.

Он осмотрелся. Голые сады сплетались и топорщились. Дома, все больше черные, из некрашеного бревна, прятались под шифером и железом.

Попробовал прочность лесенки-доски, закрепленной на скате. Плашки-перекладины сгнили. Но если ступать аккуратно, избегая резких движений, то выдержат. Или не выдержат.

Стал карабкаться. Первая, вторая. Надо было мастику в сумку положить, а сумку на плечо. Чтобы обе руки были свободны. Штаниной зацепился за торчащий из шиферной волны гвоздь. Хотел переставить ногу, гвоздь рванул назад. Чуть не сдернул с крыши.

Осторожно высвободил ногу. Выше. Печная труба. Осыпающийся кирпич. А вот и трещина. Ощупал. Осторожно достал из кармана кисть, сунул в черную гущу мастики. Хорошо, банку додумался еще внизу открыть.

Добравшись до конька, уселся верхом. Заброшенные поля, зарастающие березками. Сиреневый лес с желтыми всполохами кленов и зелеными ершами елок. Вдалеке массивный, поросший сухотравьем и кустарником купол церкви, упрямо прущей из-под земли огромным грибом.

Говорят, грибы являются отростками огромного разветвленного организма, распространяющегося под землей. Разве все остальное устроено не так же: лес, поле, плесень, деревня, город, люди? Все это не самостоятельные явления, а лишь следствия чего-то единого. Следствия вещества, которое заполняет мир. Можно срубить лес, но однажды он вырастет снова. Можно разрушить города – они отстроятся, убить людей – они появятся вновь. Потому что до первопричины нельзя добраться. Первопричина содержится в каждом облачке воздуха, в каждой частице тверди, в каждом языке пламени, в каждой капле воды, в каждом глотке пустоты.

Он вдохнул влажный прохладный воздух. Надо вызвать мастеров, самому не справится. Бросил испачканную кисть вниз. Бросил банку – мастика густая, не вытечет. Пере-

кинул ногу через конек. Что-то выпало из кармана, съехало вниз. Телефон. Застрял на середине противоположного ската, в бархатных кляксах наростов и мхов, в сухих листьях.

Он сидел на коньке, смотрел на телефон и думал, что можно спуститься, взять швабру, подцепить телефон и затащить обратно наверх. Но длины швабры, скорее всего, не хватит. Можно поискать подходящую палку и спихнуть телефон вниз. И чтобы Катя ловила. Если не поймает, телефон разобьется о бетонную дорожку, идущую вдоль дома. Можно переставить лестницу и попытаться достать телефон снизу.

Стал накрапывать дождь. Миша проверил, нет ли в карманах еще чего, полюбовался на даль и пополз вниз по скату за телефоном. Крыша была довольно покатой, шифер – шероховатым, удержаться несложно. Он прижимался к волнистому покрытию, царапался о торчащие гвозди. Вот и телефон.

Протянул руку, округлый корпус скользнул в пальцах, аппарат поехал по желобку вниз и вылетел с крыши. Донесся звук удара пластмассы о бетон. Звук сообщал, что телефон разлетелся на фрагменты.

Миша даже не чертыхался. Он прилип к крыше, боясь шевельнуться. На помощь звать не хотелось. Да и чем ему можно помочь... Подтащить лестницу? Катя не справится – лестница для нее тяжела. Позвать соседей? Вокруг никого.

– Эй, Степан Васильевич! – окликнула его Катя.

Отзываться или нет... Нельзя не отзываться.

– Я здесь, на крыше, – пробубнил он в шиферную волну. – Я здесь! На крыше! – крикнул он, стараясь не сильно отрывать голову.

– А я слышу, кто-то по крыше топает. Решила проверить, – донеслось снизу. – Помощь нужна?

– Нет-нет, все в порядке.

– Телефон какой-то валяется... Это же твой!

– Да, мой! – разозлился он.

Не шевелясь, он кое-как смог разглядеть внизу Катю. Она отошла от дома и теперь рассматривала его.

– Отсюда не скажешь, что у тебя все в порядке.

– А что ты можешь поделать, – сдался он. – Ты же не Карлсон!

Он чувствовал, как тело неумолимо сползает вниз. Гвозди рвали одежду, царапали грудь и живот.

– Ты сейчас упадешь! – завопила Катя.

Он слышал, как она металась внизу. Бегала. Что бы подложить, подстелить?..

Он стал перебирать ногами, тщетно ища опору.

– Что же делать?! – донеслось снизу.

Обернувшись, он увидел копну ветвей росшей возле дома калины. Оттолкнулся от крыши, чтобы упасть в этот куст, а не на бетон дорожки. Закрыв глаза.

– Я тут в буфете мед нашла, – сообщила Катя, пододвигая к нему тарелку с медовыми сотами. – Не болит?

– Нормально. – Он стал кромсать соты ложкой и есть. – Меня в кружке самбо падать научили еще в детстве.

Лицо прочертили царапины. Бурели легкие ссадины. Падение обошлось для него много удачнее, чем для телефона. Ветки хлестнули, и бедром ударился. И локтем. Без переломов.

Катя сняла закипающий чайник с гнезда, не дождавшись, пока он отключится сам. Подлила в чашки. Поставила чайник на место. Опустевший неотключенный прибор зашипел, снова начав нагреваться.

– Выключать надо, сгорим. – Миша строго щелкнул кнопкой.

Он решил пожить в доме подольше. Сообщил начальству, что упал на тренировке, подозрение на перелом. Самочувствие же его, напротив, от свежего воздуха и загородной жизни только улучшилось.

Падение с крыши не погасило его тяги к преобразованию и благоустройству родового гнезда. Он решил стрести сухие листья и пошел в сарай за граблями. Так... Что здесь? Сюда он еще не заглядывал. Лопаты, тяпки, вилы, грабли. На полках жестянки с гвоздями. В углу старая газовая плита. Набрал и выдул воздух из длинного насоса. Взгляд упал на поперечную балку с намотанной на нее веревкой.

– Мое имущество, – сказал он, подпрыгнул и повис на балке. – Я Степан Васильевич Свет.

Он так бы и сидел безвылазно в своих новых владениях, если бы не Катя.

Они вышли на прогулку.

Справа деревня посредством затопленной, заросшей колеи переходила в необхожденное, с торчащими тут и там молодыми деревьями поле, слева же – еще была отчасти под контролем человека. Именно слева сюда и вела полоса той бугристой, будто ходящей под ногами, земли, которая на картах означалась дорогой и одновременно единственной местной улицей. По этой улице Миша с Катей и решили пройти.

Подновленные домишки, принадлежавшие дачникам, были либо выкрашены в яркий цвет, либо одеты в пластик – сельские шмары, прикинувшиеся в броские тряпки, чтобы сойти за городских. Большей же частью избы были черны и выпотрошены. У таких и крыши были содраны, и полы выворочены. Людей или другой какой живности не было.

Мишу привлек сгоревший дом. Вопреки Катиным уговорам не пачкаться и «не копаться в чужой помойке», он вскочил на невысокий приступок фундамента в том месте, где раньше находился порог, и заглянул внутрь. Коробка потрескавшихся, изъеденных пламенем бревен. Посмотришь на них, и слышно, как они хрустели в огне. Печка со съехавшей набекрень трубой. Горы проросших сорняками шкварок людского быта. Спрыгнул туда, как в могилу. Ковырнул носком ботинка. Обрывок старой фотографии.

– Ну что у тебя там? – крикнула Катя.

Смел землю. Под разводами плесени угадывался портрет, от которого осталась одна только грудь. Мужчина. В форме. Ремешки, накладные карманы, блямба ордена Ленина.

Через планшетник Степан вошел в Сеть, обнаружил сообщества любителей исторической реконструкции. Мужчины и женщины разных возрастов наряжались в костюмы прошлого, в том числе в форму НКВД. Форму шили по сохранившимся образцам, скупали костюмы после киносъемок, разыскивали сохранившиеся подлинные вещи. Здесь же, на страничке любителей старины, можно было заказать точную копию любого приглянувшегося наряда. Степан порыскал по каталогу и выбрал гимнастерку из серого коверкота. Серые носили вопреки положенным по уставу хаки. Заказал синие бриджи, ремень, португую, черные сатиновые трусы, сорочку и настоящие старые хромовые сапоги коровьей кожи. Только фуражку не стал заказывать. Насчет сапог у Степана возникли сомнения, нельзя покупать обувь без примерки, но он решил рискнуть. Есть в этом и аттракцион, и лотерея, и каприз. Он давно не позволял себе существенных трат. Вот и развлечется.

В дверь позвонили. За окнами кромешная тьма, он дал Кате знак не шуметь, а сам тихо, стараясь не ступать на те доски, что скрипят, подкрался к двери. Степан понял – сделать вид, будто дома никого нет, не получится, гасить люстру поздно. Он не знал, как бы так посмотреть в глазок, чтобы тот, кто по ту сторону, видя в глазке сначала свет, а потом затемнение, не догадался, что на него смотрят.

И тут Степана охватил ужас. Он вспомнил, что никакого звонка здесь нет. Он сам, когда приехал впервые, стучался. Да и глазка никакого нет.

Он обернулся: Катя куда-то пропала. Неодолимое бремя придавило его к полу. Степан смотрел на дверь, на щель под ней. То, что звонило, было рядом. Здесь. Оно вычерпывало из него силы. Свет стал меркнуть. Оно высасывало свет. Степан почувствовал дыхание. Не затылком. И не лицом. А всем своим существом. Есть только одно спасение. Из последних сил он замотал головой, открыл глаза.

Вокруг была тьма. Щелчком выключателя Степан прогнал тьму из комнаты. Тьма смотрела на него черным окном.

– Кто звонил? – спросил он, чтобы услышать свой голос.

Катя перевернулась на другой бок.

Покупки доставили через несколько дней. Степан встретил курьера на станции. Раскошелился за доставку. Катя была в городе. Дома он нетерпеливо вскрыл пакеты, разглаживал ткань, нюхал кожу сапог.

Скинул одежду и облачился в новое. Непривычные железные пуговицы, скрипящий ремень. Правую ногу крепко обхватило ложе сапога, левая застряла в голенище. В приложенной рекомендации советовали смазать кожу касторкой или детским кремом. Среди оставшихся в доме лекарств Степан нашел и касторку. Смазал. Отложил на два часа. Протопил печь, повалялся на кровати. Промасленный сапог стал податливее. Нога протиснулась. Степан притопнул. Надел фуражку и стоял теперь перед зеркалом, осматривая себя со всех сторон.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.